

Алхимики Реальности



Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Алхимики Реальности

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Алхимики Реальности / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Валентина — метролог, восемь лет измеряющая мир до четырнадцатого знака после запятой и растящая дочь, которую врачи называют сломанной: девочка видит опоздание света и край пустоты там, где для остальных просто крашенная стена. Однажды на её интерферометре скорость света проседает на невозможную малость — воспроизводимо, чисто, кольцами расходясь из пустой точки над окраиной. Кто-то тихо переписывает фундаментальные константы, и первый детектор конца — не приборы страны, а её дочь. Совет отправляет мать отдохнуть, город учится жить в отставании от себя, а самый близкий человек оказывается на другой стороне. Приходится выбирать, чем платят за подлинность.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Запаздывающий свет	5
Часть вторая. Градиент	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Алхимики Реальности

Часть первая. Запаздывающий свет

Мия стояла перед зеркалом в прихожей и ждала, когда её догонит собственное лицо.

— Опять опоздало, — сказала она, не оборачиваясь.

Валентина присела за её спиной, зажав в зубах заколку. В старом зеркале с облупившейся по краям амальгамой отражались двое: женщина с непослушной прядью у виска и девочка в сером сарафане, слишком тонкая для восьми лет. Валентина потянулась поправить дочери воротник — и отражение повторило движение. Вовремя. Как у всех.

— Что опоздало? — Она вынула заколку из рта.

— Свет. — Мия качнула головой вправо, влево, следя за собой сузившимися глазами.
— Вчера он опаздывал на один. Сегодня на два.

— На два чего?

— На два.

Мия всегда считала без единиц, будто мир состоял из голых чисел, а называть их было лишним трудом. Она подняла руку и медленно повела ладонью перед стеклом. За ладонью — Валентина могла бы списать это на усталость и утренний сумрак — тянулся бледный след, как за веслом в тёмной воде. Полупрозрачный. Отставший на полдвижения.

Она моргнула. След исчез.

Восемь лет назад, в первую страшную зиму, когда Мия ещё не говорила, а только кричала на свет и цепенела перед стенами, Валентина однажды ночью, вымотанная до дна, поймала себя на мысли — короткой, стыдной, как ожог, — что хотела бы обычную дочь. Здоровую. Такую, которую не надо переводить на человеческий язык каждое утро. Мысль ушла за секунду, но осталась зазубрина, и Валентина носила её в себе все эти годы, как носят осколок под кожей: не болит, пока не тронешь.

Она тронула — и убрала руку.

— Идём, зайчик. — В голосе прорезалась та ровность, которой она научилась: ровность человека, каждое утро переводящего невозможное дочери на язык, понятный школе, врачам, соседке за стеной. — Свет всегда успевает. Просто мы иногда устаём его ждать.

— Ты не смотришь, — сказала Мия. — А я смотрю.

Это накрыло её у самой двери, когда Валентина уже держала наготове куртку.

Мия остановилась посреди прихожей — там, где стена была пуста, просто крашеная стена без картин, — и застыла. Не как застывают дети, заигравшись. Иначе. Из неё вышло движение, всё сразу, будто кто-то вынул стержень; лицо разгладилось, зрачки расширились и вобрали пустую стену целиком, и в них проступил не страх — узнавание чего-то громадного и близкого.

— Мам, — сказала она очень тихо, не двигая губами. — У неё есть край. У пустоты. Я вижу край, и за ним ничего, но это не темно, это... — она задохнулась, — это когда тебя ещё не придумали.

Валентина знала, что нельзя хватать. Хватать — значит удвоить ужас. Она опустилась на колени рядом, не касаясь, и завела то, что придумала сама годы назад, когда врачи только разводили руками.

— Дыши со мной, — сказала она. — Раз — вдох. — Она вдохнула шумно, чтобы Мия услышала. — Свет успеет, зайчик. Он всегда успевает. Два — выдох. Считай со мной. Мы просто считаем, пока он идёт.

— Раз, — прошептала Мия. Грудь у неё под сарафаном ходила часто-часто. — Свет...

— Успеет. Три — вдох.

— ...успеет. — На «пять» плечи опустились. На «восемь» зрачки сузились, и стена снова стала просто стеной, крашеной, тёплой, ничьей. Мия качнулась вперёд, и Валентина поймала её, и дочь ткнулась ей в шею, влажная и горячая, обычный ребёнок, переживший необычное.

— Долго было? — спросила Мия глухо.

— Совсем чуть-чуть, — солгала Валентина, а её отцовские часы на запястье сказали правду: минута сорок. Полторы минуты дочь простояла на краю чего-то, чему в медицинской карте было имя «диссоциативный эпизод», а на самом деле — она уже начинала это подозревать — имени ещё не придумали. — Идём. Дядя Давид зайдёт за тобой, а я поеду ловить свои опоздания.

Мия отстранилась и посмотрела не на мать — на её отражение в зеркале.

— У тебя пока успевает, — сказала она серьёзно. — Пока.

Давид опаздывал на пятнадцать минут и извинялся ещё в дверях, стягивая шарф так, будто тот сопротивлялся.

— Пробки. Весь город стоит, будто время загустело. — Он улыбнулся Мии, и морщины сложились в знакомый веер. — А у меня для тебя кое-что.

Из кармана пальто он достал вещицу, завернутую в замшу: стеклянную призму, тяжёлую, отшлифованную до слёзной прозрачности. Поднял к окну. По стене прихожей поехала радуга — растянутая, дрожащая, разложенная на семь честных цветов.

— Свет входит белым, — сказал Давид, — а выходит собой. Всеми собой сразу. Он всегда был такой, просто мы смотрим сквозь него, а не на него.

Мия взяла призму обеими ладонями, склонила голову набок, будто прислушиваясь к стеклу, и замерла — но хорошим замиранием, не тем.

— Слышишь стекло? — Давид присел рядом с ней на корточки. — Оно поёт. Каждая вещь поёт на своей ноте, только мы разучились слушать. А ты не разучилась.

— Оно поёт грустно, — сказала Мия, не отрывая глаз от призмы. — Как будто прощается.

Давид не ответил. Он смотрел на девочку так, как смотрят на то, что боятся потерять, и Валентина, привыкшая читать по лицам не хуже, чем по приборам, это отметила и не поняла: крёстный любил Мию всегда, но в последнее время в его нежности завелось что-то новое, торопливое, почти виноватое — будто он прощался с ней заранее или готовился к чему-то, о чём ей не говорил.

Валентина следила от вешалки. Давид умел с ней так, как не умели врачи: не чинил, а показывал. За это она прощала ему и вечные опоздания, и странную в последний год рассеянность, и то, как он подолгу расспрашивал про эпизоды Мии.

— А в какую сторону он сегодня опаздывал? — спросил Давид у девочки, легко, будто про погоду. — Свет. Вправо тянулся или влево?

— От окна, — сказала Мия. — И на три будет к вечеру.

— На три, — повторил Давид тихо, и Валентина, подавая ему перчатки, заметила: он не переспросил, что это значит. Он кивнул, как кивают знакомой цифре. — Ей сегодня хуже? — спросил он уже у матери.

— Замирала. Полторы минуты. — Валентина смотрела на его руки. Пальцы, застёгивавшие пуговицу, мелко дрожали, и на цепочке под воротником качнулось тонкое женское кольцо,

которого он не снимал никогда — она за десять лет ни разу не спросила чьё. — Давид, ты в порядке? Ты сам на себя не похож последние месяцы.

— Старею. — Он спрятал руки в перчатки, будто пряча улику. — Валя. Её не надо чинить. Пока не надо.

— Пока? — Она услышала слово раньше, чем поняла.

— Пока она такая живая. — Он уже улыбался, уже вёл Мию к двери, уже был весь тёплый крёстный, а не тот, кто на секунду проговорился. — Иди, лови свои опоздания. Мы дойдём сами.

Дверь закрылась. Валентина подошла к окну и смотрела, как они идут через двор: высокий сутулый человек и тонкая девочка, и его ладонь лежит у неё на макушке так бережно, будто он ведёт не ребёнка, а горящую свечу через сквозняк.

На стене ещё висела радуга. И только теперь Валентина заметила, что нижний её край, красный, отставал: когда облако за окном сдвинулось и свет качнулся, все цвета поехали разом, а красный тронулся чуть позже. На полмгновения. На «один».

Она сказала себе, что это дисперсия. Что красный всегда ленивее синего. Что она — уставшая мать, начавшая видеть глазами дочери.

Себе она почти поверила.

В лаборатории пахло озоном и остывшим кофе. Институт метрологии просыпался медленно: гудели криостаты, перемигивались стойки, за окном серело небо цвета нечищеного серебра. Валентина любила этот час — когда приборы уже проснулись, а люди ещё нет, и мир можно мерить без свидетелей.

Её хозяйством был оптический интерферометр — установка длиной в комнату, где свет расщепляли надвое, гоняли по двум плечам и сводили обратно, чтобы по узору интерференции читать то, чего не увидит глаз: дрожь зеркала в нанометр, вздох фундамента, ход самого времени. Её имя стояло под половиной методик, по которым страна сверяла свои эталоны; молодые ходили к ней спорить и уходили переубеждённые. Валентина не доверяла экранам. На запястье у неё тикали механические часы, старые, отцовские, и первым делом каждое утро она сверяла их с атомным стандартом — не потому, что часы точнее, а потому, что живой ход пружины напоминал: всё, что мы измеряем, само по себе течёт, и мерить время железом, которое тоже течёт, — это акт веры не меньше, чем науки.

Она запустила калибровку и застыла над распечаткой.

Полоса интерференции сдвинулась. Не дрогнула — сдвинулась, ровно, будто кто-то удлинил плечо установки на невозможную малость. Валентина прогнала тест заново. Сдвиг повторился. И ещё раз. Три раза подряд, в одну сторону, три сигмы над шумом — а три сигмы это уже не «показалось», это «запишите и распишитесь».

Цифры складывались в то, во что нельзя было складываться. Скорость света в её плече чуть-чуть упала. На четырнадцатом знаке. На величину, которой не бывает, потому что скорость света — не измерение, а линейка, которой меряют всё остальное. Линейка не может стать короче. Если линейка стала короче — значит, короче стал мир, а ты этого не заметил, потому что укоротился вместе с ним.

— Ты опять ночуешь с железяками. — Дмитрий Лунц вошёл, не постучав, с двумя стаканами кофе; один протянул ей. Соавтор, ровесник, человек безупречной осторожности. Красная ручка торчала у него из кармана, как всегда. — Что тут у нас?

— Посмотри. — Она подвинула распечатку. — Три прогона. с просела на четырнадцатом. Воспроизводимо.

Лунц отпил, глянул, поставил стакан. Профессиональная скука на его лице сменилась профессиональной жалостью.

— Дрейф, — сказал он. — Термокомпенсация плывёт, лазер гуляет, фундамент дышит — вариантов сто, и все скучные. Перекалибруй опору и не пугай совет. — Он уже отворачивался. — Ты не спишь, Валя. Ты видишь то, что хочешь увидеть.

— А что я хочу увидеть?

Он не ответил. Он был добрый человек и не хотел говорить вслух то, что думал: что мать больной девочки повсюду ищет поломку мира, лишь бы её собственная поломка перестала быть виноватой.

— Перекалибрую, — сказала она, чтобы он ушёл. — Ты прав, наверное. Иди.

Он ушёл, довольный тем, что вправил коллеге вывих здравого смысла. Валентина отхлебнула кофе, горький, металлический на языке, и посмотрела на распечатку ещё раз. Внизу, машинально проставленный системой, стоял штамп времени первого сдвига: 07:14.

В 07:14 Мия стояла перед зеркалом и говорила: сегодня свет опаздывает на два.

Кофе стал совсем холодным во рту. Валентина сняла трубку, набрала школу, попросила передать дочери, что мама придёт пораньше. Ей нужно было услышать чужой обычный голос, произносящий обычные слова, — чтобы убедиться, что мир ещё умеет быть обычным.

Дома Мия уснула быстро, обняв призму, и радуга от уличного фонаря лежала на её щеке — тихая, неподвижная, честная. Валентина долго стояла в дверях детской, слушая ровное дыхание, потом ушла на кухню, закрыла дверь и набрала Давида.

— Не спишь? — сказал он вместо приветствия. Голос усталый, тёплый, домашний — голос человека, которого она знала двадцать лет, у которого защищала диплом, которого звала в роддом на первый крик Мии.

— Давид, я сегодня перемерила скорость света. — Она говорила почти шёпотом. — Три прогона. Она просела. На четырнадцатом знаке, но воспроизводимо, чисто. Скажи мне, что я не сплю и сошла с ума. Мне сейчас очень нужно, чтобы ты так сказал.

Пауза. Слишком долгая для человека, который должен был засмеяться и назвать десять скучных причин.

— Приборы, — выговорил он наконец. — Ты знаешь приборы лучше меня. Тысяча причин, и все скучные.

— Я так и сказала Лунцу. А потом свела всю сеть. — Она прикрыла глаза. — Это не прибор, Давид. У этого есть география. Кольца. Есть центр — пустая точка над окраиной, из которой... — Она услышала, как на том конце что-то стукнуло: будто он опустился на стул, не удержавшись. — Ты двадцать лет учил меня верить данным, а не тому, что удобно. Так скажи как учитель. Что это.

— Я учил тебя, — сказал Давид медленно, и в голосе прорезалось незнакомое, тонкое, — что иногда данные говорят вещи, которых человек не готов вынести. И тогда милосерднее их не расслышать. — Он перевёл дыхание. — Ложись спать. Обними её. И не вози больше установку к пустым местам, Валя. Пожалуйста. Обещай.

— К каким пустым местам? — тихо спросила она. — Давид, я не говорила тебе, что центр над пустырём. Я вообще не называла место.

Тишина. Долгая, глухая. Потом — короткий шелчок отбоя.

Она стояла с телефоном у уха, слушала гудки, и впервые за двадцать лет голос человека, которому она верила больше, чем собственным приборам, оставил во рту привкус холодного металла — тот самый, что был утром в остывшем кофе.

Она осталась после того, как погас последний свет в чужих окнах.

Одного сдвига мало. Один сдвиг — это дрейф, Лунц прав. Но у неё была не одна установка, а вся ночь архивов: институт мерил константы непрерывно, годами, десятки станций по стране сшивали данные в общую сеть. Валентина вытащила всё и разложила по карте страны — по точкам, где стояли атомные часы и интерферометры коллег, которые тоже, наверное, списали свои сдвиги на дрейф и перекалибровали опору.

И мир проступил.

Сдвиг был не всюду одинаков. Сильнее здесь, слабее — за рекой, ещё слабее — на дальней станции у моря. Он убывал с расстоянием ровно, честно, как убывает волна от брошенного камня. Валентина провела линии равных значений — и они сомкнулись в кольца. Концентрические. Расходящиеся.

У волны есть источник. У этих колец был центр — пустая точка над окраиной города, где не было ни станции, ни установки, ничего, из чего могло бы бить. Из ничего расходилось изменение самой ткани, тихо перенастраивая линейки, которыми люди мерили свой мир, — и убывало к краям, потому что ещё не дошло до краёв.

Константы не ломались. Их кто-то менял. Медленно, из точки, волной — так, что первыми ловили либо самые точные приборы на Земле, либо самая тонкая нервная система на Земле.

А самая тонкая нервная система на Земле спала сейчас дома, обняв стеклянную призму, и восемь лет её звали поломкой.

Валентина сидела в темноте, и по стеклу монитора полз холодный свет её же лица. Она подняла руку и медленно повела ладонью перед экраном.

За ладонью потянулся бледный след.

На полмгновения. На «один».

Часть вторая. Градиент

Восемь лет Валентина вела дневник дочери — не из сентиментальности, а потому что врачи требовали «фиксировать эпизоды». Дата, время, длительность, что видела, что слышала. Восемь лет она думала, что записывает болезнь. Теперь она положила рядом две таблицы — эпизоды Мии и ступени сдвига констант — и стала сшивать их по времени, и руки холодели с каждой строкой.

Совпадало.

Не приблизительно — до часа. Каждый раз, когда сеть ловила новую ступень, за день-два до того Мия замирала перед пустотой, или жаловалась на тон, которого нет, или говорила, что свет опоздал ещё на один. Дочь чувствовала фронт волны раньше самых чутких машин человечества — раньше ровно на те часы, что нужны волне, чтобы дойти от окраины до центра, где стоял их дом.

Всё, что восемь лет называли поломкой, было настройкой. Мия не воспринимала мир неправильно. Мия воспринимала правильный мир — прежний, ещё не переписанный — и вздрагивала каждый раз, когда его подменяли на волосок. Она была не сломанным приёмником. Она была единственным исправным приёмником в комнате, полной глухих.

Валентина сидела над двумя столбцами цифр — эпизоды дочери и ступени сдвига — и её мутило от того, как красиво они ложились друг на друга. Восемь лет она таскала Мию по врачам, платила за обследования, заучивала латынь диагнозов, спорила с учителями — и всё это время ответ был не в дочери, а в мире. Не Мию надо было чинить. Мир начал ломаться, а её девочка просто услышала это первой — раньше всех приборов планеты, раньше самой матери-метролога. Гордость и ужас поднялись в ней разом, неразделимо: гордость за дочь, оказавшуюся права против целого мира, и ужас перед тем, в чём именно она оказалась права.

— Мам. — Мия сидела на полу среди рисунков. Последние недели она рисовала одно и то же: чёрные концентрические кольца и в центре — прогалину, которую закрашивала белым так яростно, что рвался лист. Те же кольца, что Валентина этой ночью чертила по данным сети. Дочь нарисовала карту раньше, чем мать её вычислила. — Завтра к вечеру будет ещё.

— Ещё чего, зайчик?

— Опоздания. — Мия не подняла глаз. — Свет опоздает на три. Я слышу, как он собирается. Как перед грозой ломит в ушах, только это не гроза.

Валентина записала: дата, время, прогноз — «на три». Впервые в жизни она молилась, чтобы дочь ошиблась.

Мия не ошиблась.

Назавтра к вечеру Валентина стояла в очереди в аптеке за успокоительным, которого себе не позволяла, и смотрела, как рушится обыкновенность.

Сначала это заметила женщина у витрины — молодая, с коляской. Она поправляла причёску в тёмном стекле и вдруг замерла с поднятой рукой, потому что стеклянная женщина в витрине опустила руку заметно позже неё. Женщина отступила. Отражение отступило с запозданием. Она качнула коляску — двойник в стекле качнул пустоту, потому что живая коляска уже уехала вперёд из кадра, а стеклянная всё ещё стояла, на полшага в прошлом.

— Вы видите? — сказала женщина громко, ни к кому. — Вы это видите?

Видели все. По всей аптеке, по всей улице за окном люди останавливались перед стёклами, перед лужами, перед тёмными экранами телефонов и обнаруживали, что отстают от себя. Кто-то нервно смеялся. Кто-то тряс головой, будто вытряхивая воду из уха. Продавщица за кассой уронила сдачу и не нагнулась. По радио над прилавком спокойный, слишком спокой-

ный голос уже говорил — Валентина запомнила это дословно, потому что услышала в нём будущее, — говорил, что «наблюдаемое рассогласование не опасно, что это, возможно, дар, приглашение отпустить старую, тесную версию себя и довериться той, что идёт следом». Диктор не паниковал. Диктор приглашал. И это было страшнее паники.

Валентина вышла, не купив ничего. Город снаружи наполнялся тихим, вежливым Шёпотом: сотни людей стояли перед сотнями отражений, и отражения отставали от них на общий, всех накрывший такт, будто целый мир вдруг стал чуть медленнее самого себя — и заметил это только сейчас, когда рассогласование доросло до глаза.

Дочь предупреждала за день. Дочь всегда предупреждала. А слушала её только мать, которую за это признали ненадёжной.

Совет собрали в понедельник, в холодном зале с длинным столом, и Валентина разложила перед ними кольца, штампы времени, шитые данные сети — всё, кроме дневника Мии. Дневник она оставила в сумке. Она слишком хорошо знала цену слову «дочь» в этом зале.

Директор слушал, сложив пальцы домиком. Лунц смотрел в стол. Кто-то листал её распечатки с той быстротой, с какой листают то, что уже решили не читать.

— Валентина Андреевна, — сказал наконец директор, — вы утверждаете, что фундаментальные постоянные меняются. Согласованно. По всей стране. Из пустой точки над спальным районом.

— Я не утверждаю. Я измерила. Данные не мои — они с ваших же станций. Я только сложила их вместе и провела линии.

— Данные показывают коррелированный дрейф, — мягко вставил Лунц, не поднимая глаз. — Сеть стоит на общих опорных генераторах. Поплыл эталон — поплыло всё сразу, синхронно. Это артефакт инфраструктуры, а не... — он поискал слово помягче и не нашёл, — не переписывание вселенной.

— Тогда объясни центр, Дмитрий. Дрейф эталона не убывает кольцами от точки в небе. Дрейф не имеет географии. А это — имеет. И объясни, что сейчас происходит в каждой витрине этого города.

Лунц наконец посмотрел на неё. В глазах у него была не насмешка — просьба. Не делай этого. Не при них.

Директор снял очки и потёр переносицу.

— Мы все знаем, как вам тяжело, — сказал он, и от этого «тяжело» у Валентины похолодело в животе, потому что она уже поняла, что будет дальше. — С вашей девочкой. Человек в постоянном напряжении начинает видеть закономерности там, где их нет, — это защита, это по-человечески понятно. Никто вас не винит. Но приборы чувствительны, а материнское сердце чувствительнее любого прибора, и когда одно накладывается на другое...

— Отстраните меня от темы, — сказала она ровно, чтобы не услышать до конца.

— Мы просто просим вас отдохнуть. Побывать с дочерью.

Она собирала распечатки медленно, лист к листу. Кольца, центр, штампы. Единственный верный взгляд на конец света лежал перед ними на столе, и они отодвигали его, как отодвигают тарелку, к которой потеряли аппетит. Материнская предвзятость. Вот как это называлось. Восемь лет её обесценивали через дочь — и обесценили в последний, решающий раз ровно тогда, когда именно эта «предвзятость» оказалась единственным исправным прибором в стране.

В дверях она обернулась к тёмному оконному стеклу — поправить прядь, машинально, как поправляют перед уходом.

Отражение подняло руку позже, чем она.

Не на «один». Заметно позже — на долю вдоха, которую увидел бы теперь и слепой. Валентина застыла с рукой у виска. За её спиной, в стекле, директор потянулся за очками — и стеклянный директор потянулся следом, с запозданием, будто мир на той стороне отставал от мира в комнате.

— Дмитрий, — сказала она тихо, не оборачиваясь. — Посмотри в стекло. Не на меня. В стекло.

Лунц поднял голову. Посмотрел. И она видела в отражении, как его лицо меняется — как скука, жалость, вся его безупречная осторожность осыпаются разом, и проступает то, что было под ними: обычный испуг обычного человека, впервые заметившего, что в стекле он на полшага позже себя.

— Почему... — начал он и не закончил. Рука его в отражении всё ещё договаривала движение, которое живой Лунц уже завершил.

Так подтвердилось в этом зале то, что за окном уже знал весь город. И то, что за день до всех знала восьмилетняя девочка, которую совет только что назвал причиной материнского помешательства.

Точку в небе Валентина нашла не ногами — приборами. Над пустырём на дальней окраине, там, где сходились кольца, воздух ничем не отличался от любого другого воздуха. Ни жара, ни свечения, ни запаха. Но интерферометр, который она привезла в багажнике и собрала прямо на капоте, под единственным фонарём, сходил с ума тем сильнее, чем ближе она подносила его к невидимому центру. Оттуда, из пустоты над замёрзшей грязью, ровно и беззвучно било переписывание.

Эмиттер, назвала она это про себя. Источник. Форсунка, впрыскивающая в мир новые правила капля за каплей.

Если он излучал сигнал — в него можно послать сигнал. Валентина не знала толком, зачем это делает; знала только, что восемь лет её не слышал никто, а тут впервые было что-то, что, быть может, услышит. Она настроила излучатель в противофазе, инверсией — не глушить, а окликнуть, постучать — и толкнула в пустую точку узкий импульс своего собственного, ещё не переписанного света.

— Валя, не надо. — Давид возник на краю пустыря, откуда — она не заметила. Он почти бежал, полы пальто хлопали, и голос был не тёплый, а тонкий, ободранный страхом. — Пожалуйста. Ты не понимаешь, с чем говоришь. Выключи, отойди, поедem домой, я всё объясню, только выключи...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.